

Мне приходилось залезать на нижние ступени пирамиды Хеопса, трогать камни Колизея и стоять в подвале Гур-Эмира перед могилой Тимура. Но никогда я не испытывал большего трепета, чем от общения с живыми свидетелями замечательных или скорбных страниц истории. Я имею в виду деревья. Ещё значительнее общение с питомцами великих людей, взявших в руки лопату в трудную или светлую минуту своей жизни и посадивших, а значит, и оставивших на память потомкам живое существо (а может, не существо).

Вы представляете, как это замечательно: посидеть на Цейлоне под деревом, помнящим Будду, или на Крите разыскать оливу (они живут до трёх тысяч лет), слушавшую Гомера, а ведь есть живой дуб, под которым Иван Сирко писал письмо турецкому султану, поныне живо и дерево, с которого Емельян Пугачев разглядывал горящую Казань. Да и четыре сосны во Львовке, посаженные Натальей Ланской, вдовой Пушкина, живые свидетели нашей истории.

Я не оговорился: они слышат и помнят. Это научно доказано. Просто мы пока ещё не умеем пользоваться той информацией, которой владеют наши зелёные братья. Может, как-то нехорошо так их называть: заигрывающе или панибратски? Да и братья ли, когда мы каждый день мимодумно, а часто и безрассудно обращаемся с ними.

Хотя лесные народы, мордва или черемисы, прекрасно сознают, что Кереметь всегда накажет человека, неуважительно отнесшегося к священному дереву или роще. А рощу любых деревьев стоит считать

всегда одним существом, точнее организмом, потому что у неё единая корневая система.

Множество раз, оглядывая свою жизнь, как большое поле битвы, Максим Горький вспоминал летние месяцы 1903 года как самое счастливое время. Он отдыхал тогда на даче в поместье Турчаниновых в Горбатовке с женой Екатериной Павловной и с детьми Катей и Максимом. Вместе с ними на отдых приехали и теща писателя Мария Александровна с племянницей Ольгой и две служанки.

В те годы «Нижегородской Ривьерой» назывались в народе эта местность: Желнино, Сейма, Игумново, Растяпино, Черное. Окские золотые пески, речные прогулки на лодках, сосновые рощи и походы за грибами, весёлые компании и любительские спектакли, концерты, на которые приглашались из города знаменитости, делали этот район Черноречья излюбленным местом летнего отдыха нижегородской интеллигенции и чиновников. Купцы и промышленники, адвокаты и врачи снимали в этих селах и деревнях дома под дачи на лето. Тут же находились и летние резиденции нижегородских миллионщиков Бугрова и Башкирова, которых Алексей Максимович хорошо знал и запросто ходил к ним в гости. Именно тогда в Черноречье была задумана и написана Горьким пьеса «Дачники». Его соседи по даче, его ежедневные собеседники становились прототипами будущих героев пьесы.

Алексей Максимович Горький не догадывался тогда, что это его последний год проживания на родной нижегородской земле.

К этому времени слава Горького стала по-настоящему всемирной, его книги издаются в десятках стран, его пьесы играют на главных сценах, он получает бешеные гонорары, общаться с ним, быть знакомым с ним престижно. Алексей Максимович прекрасно понимает, что его общественное положение, его статус резко меняется именно в эти годы. Но именно тогда и завязывается один из главных амуров великого писателя, до сих пор вызывающий много споров и кривотолков, и предметом его была Мария Андреева, замечательная актриса МХТ и партнёрша Станиславского, с которой Горький познакомился ещё в Крыму.

Николай Александрович Бугров, купец-старообрядец, выросший в непролазных и заповедных заволжских лесах, один из богатейших людей России, позволявший себе называть премьера Сергея Юльевича Витте просто «Витей», присылал за писателем свою коляску. И это только затем, чтобы провести с ним несколько часов в беседах под белоснежным шатром на Сейме, где стоял его знаменитый на всю страну сказочный домик-пряник.

Здесь, на Сейме, Горький, человек сугубо городской, впервые прямо-таки столкнулся с совершенно незнакомой ему ранее мощной культурой «лесных людей», для которых живыми, а точнее обожествленными, становились и небо, и земля, и вода, и деревья, и отдельные виды животных. Это удивительным образом совмещалось с христианским старообрядческим мировоззрением.

Ардальен Иванович, садовник-грек, которого купец-миллионщик пригласил из Крыма, чтобы озеленить и обустроить территорию вокруг своего деревянного гнёздышка, просветил великого писателя и убедил его, что посаженное дерево – лучший памятник человеку, потому что дерево помнит, кто его сажал и ухаживал за ним в первые трудные дни, недели и месяцы. Под корой деревьев бежит живительный сок, похожий на нашу кровь, а каждая клетка его живет и копит и передает знания об окружающем мире через свои семена. А главное – дерево живёт

многие сотни лет, и редкий каменный или железный постамент сможет сравниться с ним в долголетию. И липа, и дуб могут жить по тысяче лет.

Детские игры и забавы, прогулки в лес с шестилетним Максимом и трёхлетней Катей были ничем не заменимой радостью. Собирались грибы и жуки, рассказывались сказки и учились стихи. Катания на качелях и на лодках, ежедневные новые детские игры и шарады – у Горького была неистощимая фантазия на выдумку развлечений и забав. Всё это было замечательно, ежедневно, неповторимо и волшебным.

А вот после разговора с садовником Ардадьёном писатель со своими детишками сходил в лес, выкопали они там три («на каждого!») молодых, но уже крепких липки, таких, которые ещё не цветут, и посадили их прямо под окнами турчаниновского дома. Каждый день он отливал молодые деревца – не дело заниматься такими пересадками в июне. И через три дня листики, вначале повисшие тряпками, снова затвердели, зашуршали, зашелестели, глянец заблестели.

Но всё же основной и ежедневный интерес Горького был на железнодорожной станции, куда он ходил регулярно за письмами, газетами и прочей корреспонденцией. Туда же приходили и любовные письма от Андреевой, роман с которой только-только начал развиваться.

Высокий, подтянутый, даже худой, в красной рубахе, подпоясанной ремешком, в легких сапогах, широкополой соломенной шляпе с тонкой можжевеловой тросточкой, вырезанной собственноручно, он добирался до станции за двадцать минут, дорога назад занимала в два раза больше времени: сидя на особом привычном поваленном дереве, читались безумные, страстные объяснения в любви.

Через год станцию Чёрная переименовали в станцию Растяпино. Сделано это было по непосредственному распоряжению Желябужского Андрея Алексеевича, главного контролера Курской и Нижегородской железных дорог, законного мужа М. Ф. Андреевой, которая посылала Горькому любовные письма на станцию Чёрное. Себя хотел укорить, а наказал жителей, которых стали «растяпами» звать.

Через три года, в Америке, где писатель находился в рабочей поездке уже со своей гражданской женой Андреевой (она уже научилась подписывать письма – Мария Пешкова), догнала писателя страшная весть: умерла от менингита его дочка-любимица Катенька. Жестоким было наказание за этот внебрачный амур, и Горький всю жизнь себя корил за это предательство по отношению к семье. Только в письмах оставалось ему теперь писать о маленькой девочке, бегущей по лесу и кричащей: «Я нашла ги-лип!»

Писатель туда, где ему было как никогда хорошо, вернулся через четверть века. Он вернулся на родину, на родную нижегородскую землю, вместе с сыном Максимом.

После пятнадцати лет эмиграции страна с триумфом встречала своего великого писателя и мировую знаменитость. Ему было устроено грандиозное турне по стране Советов, в маршрут был включен и Нижний Новгород, ещё не переименованный в его честь. Курировал все встречи писателя с коллективами рабочих и сопровождал его лично Андрей Александрович Жданов, первый секретарь Нижегородского крайкома. В обязательную программу посещения был включен и только что вступивший в строй гигантский химический комбинат в Черноречье. Кроме Жданова и сына Максима сопровождал их в этой поездке какой-то местный писатель, имя которого Горький тут же почему-то забыл.

Ехали на крайкомовской машине. На крутом подъеме, среди вековых сосен, в песках забуксовал автомобиль. Не было никакой возможности своими силами его вытащить или вытолкать. Пришлось вызывать для гостей пролётки, запряженные безотказными лошадками. Горький сел с неизвестным писателем, а сын Максим – со Ждановым.

Видимо, судьба великих людей складывается из случайностей, иногда не очень хороших, а чаще – очень хороших и перспективных. Извозчик (я буду называть его так), который вёз Горького, был из местных, и писатель разговорился с ним. Болтали о жизни – Горький был всегда человеком любопытным. Болтали о пролётке, о рессорах, о том, какая пролётка была у Павла Ивановича Чичикова, а какая у Николая Александровича Бугрова и которая лучше. Местный писатель всё больше молчал. И вдруг что-то активно стало отвлекать от разговора Алексея Максимовича, что-то знакомое увиделось ему в стороне, что-то напомнило ему о прошлом. Он попросил извозчика остановиться

– А скажи-ка, дружок, – обратился к нему Горький, – не слышал ли ты, где тут много-много лет назад, еще до революции, жили Турчаниновы?

– Товарищ Горький, – ответил извозчик, – мне ведь самому много-много лет, и я тут знаю каждую собаку и каждую подворотню, а иначе меня бы к вам и не приставили. А Турчаниновы, если это те, которых я помню, жили на соседнем порядке. Можно тут развернуться да подъехать. Только мы опаздываем на собрание: люди ждут!

– То, что люди ждут, – плохо! Ну, товарищ Жданов это на себя примет. А ты вот что – будь любезен, если не трудно, подвези, покажи мне этот дом Турчаниновых. Уж очень мне надо!

Август. Деревенская пыльная улица без травы, без палисадников, длинный, одноэтажный, обшитый досками, почерневшими от дождей, старый дом, где-то покосившийся, где-то провалившийся. И с торца, обнимаясь друг с другом, стоят, тянутся вверх три красивых мощных липы.

Писатель осторожно спустился с пролётки, держась за поручни, опираясь на подножку.

– Посидите, друзья, минутку. Я мигом, – сказал он своим попутчикам. И уже про себя пробормотал: – Что же я не взял в свою пролётку Максима-то. А может, и не надо: может, это судьба! Значит, так намечено.

Долго-долго стоял великий писатель, поглаживая красивые, будто лакированные, стволы взрослых деревьев, пока его не окликнул извозчик. Местный автор (а может, это и не автор был, а кто-то совсем другой?) подошел к Горькому:

– Алексей Максимович, вам не помочь? Может, поедем?

– Иди, иди, голубчик. Я сейчас помолюсь по-своему, и – тоже!

На собрание, конечно, опоздали.

А липы Горького стоят посреди улицы и тянутся в небо уже вторую сотню лет.

Его липы. Только никто уже не вспоминает про это.